

и бедных. Последние его не интересуют. Не на них и рассчитано все произведение, написанное в духе подражания Лукиану на языке, далеком от разговорного.

Известное свободомыслие автора в вопросах религии, сказавшееся в самом замысле диалога, рисующего загробный мир в сатирической форме, и в том, что в суде мертвых одним из судей выведен иконоборец Феофил, могло быть проявлено при византийском дворе XII в., где подобного рода идеи были модными.

ТИМАРИОН

1. Кидион: Тимарион, добрый друг! „Ты, ненаглядный мой свет, Телемак, возвратился“.¹ Но что до сих пор мешало тебе вернуться? Ведь ты обещал скоро быть обратно. „Молви, в мечтах ничего не таи, пусть мы оба узнаем“,² — тебе предстоит говорить со своим старинным и вновь обретенным другом.

Тимарион: Милый Кидион, раз уж ты, стремясь услышать о моих несчастьях, напомнил творения Гомера, придется и мне в своем рассказе заимствовать стихи у трагических поэтов, чтобы повесть возвышенных страданий облеклась у меня в столь же возвышенные слова.

Кид.: Говори же, любезный Тимарион, не медли, чтобы не разжигать более моей жадности, и не мучай меня дольше.

Тим.: „Увы, зачем коснулся, хочешь вновь раскрыть“³ и „Зачем“, как говорится, „влечешь нас от стен Илиона?“⁴ Впрочем, пусть прологом к моему рассказу послужат стихи Еврипида; ведь от них будет удобно перейти к столь же печальному.

„Нет страшных зол и нету слова их назвать,
Тяжелых бед и мук, сужденных божеством,
Что снести не могут плечи мужа смертного“.⁵
„Нет на земле существа злополучнее смертного мужа“.⁶

Поверь, милый друг, если я тебе расскажу все, что со мной происходило день за днем, ты, конечно, предпочтешь, чтобы я молчал и вовсе не говорил, хотя сейчас и жаждешь моей повести.

II. Кид.: Начни же, добрейший, свою историю, пока не скрылось солнце и не наступил час, когда принято распрягать быков; ведь мне ради важного дела надо еще засветло выбраться домой.

Тим.: Кидион, друг мой, ты слышал от меня еще до того, как я распрощался с тобой, сколь благочестива и угодна богу была цель моего путешествия. Поэтому нет нужды мне повторять, а тебе слушать уже известные вещи. Так вот, с тех пор, как я, распрощавшись с тобою, покинул город, божья помощь сопутствовала мне и уготовила счастливую дорогу и озаботилась о всякой малости на моем пути. Чтобы

¹ Гомер. Одиссея, XVI, 23 (перевод Жуковского).

² Гомер. Илиада, I, 363 (перевод Минского). В дальнейшем во всех случаях, где нет специальных оговорок, цитируем „Одиссею“ в переводе Жуковского. „Илиаду“ — в переводе Минского.

³ Еврипид. Медея, 1317 (перевод наш. — С. П. и И. Ф.).

⁴ Гомер. Одиссея, IX, 39 (стих перефразирован).

⁵ Еврипид. Орест, 1—3 (перевод наш. — С. П. и И. Ф.).

⁶ Гомер. Илиада, XVII, 446 сл. (перефразировано).

быть кратким, скажу, что я, невзирая на мое жалкое обличье философа, был подарен царскими приемами и лаской. Попечение всевышнего позволило мне повидать всех живших на моем пути старинных друзей: один встречался мне, идя в поле, другой — по дороге к дому, третьему о моем приходе говорил раб, случайно проходивший и неожиданно столкнувшийся со мной или работавший в поле, тут же, где я проезжал; словом, не было никого, кто, увидев меня, не оказал бы мне гостеприимства. Что перечислять все пышные и богатые приемы, раз уж я назвал их царскими и блистательными?! Из этого ты можешь заключить, милый друг, что существует некое предустановление, сообразно которому блага жизни даруются тем, кто избрал удел философа. Ведь и я, ничего не взяв с собой и не запасшись ни едой, ни питьем, сразу, с первой же остановки в пути не был лишен этих благ, и они щедро изливались на меня. До самой Фессалоники все складывалось благополучно и счастливо; что же касается моего возвращения, оно было сверх меры горестно и, поистине, напоминало трагедию.

III. Кид.: Как же ты, однако, торопишься, друг мой, как ты комкаешь свой рассказ и всего касаешься налету, ни на чем не останавливаясь подробно! Еще не покончив толком с путешествием из дому и ни словом не обмолвившись о своей жизни на чужбине, „мыслью обратно летишь“, ¹ точно преследуемый собаками или какими-нибудь скифами, спешешь возвратиться в Византий, словно здесь твое единственное спасение и убежище. Успокойся, милый; ничего страшного не случится, если ты подробно расскажешь мне все, что с тобой произошло.

Тим.: Какая любознательность, друг мой: тебя прямо не насытить рассказами о чужих краях. Хорошо, я начну по порядку, но ты не сетуй, если я позабуду какую-нибудь пролетевшую мимо ворону, камень, подкатившийся под копыта лошади или придорожный терновник, зацепившийся за мою одежду. Так вот, я направлялся в прославленную Фессалонику, желая попасть туда еще до праздника святого Димитрия; дух мой был исполнен веселья, а тело бодрости. Праздность, ты знаешь, мне не милее, чем мясо свиньи иудею; заниматься книгами было невозможно, зато представлялся случай охотиться, и я ходил на берег Аксия. Это — самая большая из македонских рек; она зарождается в Болгарских горах отдельными маленькими ручейками, а затем, спускаясь, сливает их в единое русло и течет, как сказал бы Гомер, „широко и мощно“ ² по Древней Македонии к Пелле и неподалеку от нее впадает в море. Об этом крае, поистине, стоит рассказать: пахарю он дарит различные плоды земли, стратиотам — простор носиться на конях, стратигу — еще больший простор строить и перестраивать отряды; он словно создан для воинских упражнений, потому что ряды не разрываются — ведь местность совершенно ровная, нигде ни камня, ни кустика. Всякому, кто там охотился, понятно, что Федра, даже не любя Ипполита, с наслаждением носилась бы по равнине, скликала собак, гонялась за пестрыми ланями.

IV. Таковы окрестности реки Аксия. Я жил здесь с новыми и старинными друзьями и до праздника с удовольствием предавался охоте, а когда он наступил, вернулся в Фессалонику. Посетив тамошние святыни и храмы и почтив их должным образом, я отправился на ярмарку,

¹ Гомер. Одиссея, III, 142.

² Гомер. Иллиада, II, 653.

палатки которой раскинулись за городскими воротами; она начинается за шесть дней до праздника и кончается сразу же после воскресенья.

Кид.: Снова наш Тимарион становится самим собою! Чуть только перестанешь за ним следить, он возвращается к своей старой привычке: признаёт в рассказе только начало и конец и вовсе пропускает все, что было в середине. Так и теперь, словно забыв мою просьбу и свое обещание, не рассказав по порядку о ярмарке, о множестве палаток и великолепии, о толпах народу и богатстве, о разнообразии товаров, он сейчас же перешел от начала ее к концу, намереваясь этим ограничиться. Но „Ты не укрылся от взора Атрида, любимца Арея“.¹

Тим.: Боюсь, милый Кидион, если я послушаюсь тебя и построю свою повесть по твоему вкусу, нам придется провести здесь всю ночь. Но что делать? Просьбы друзей, как видно, закон и мало отличаются от велений тиранов. Нельзя не повиноваться им, каковы бы они ни были. Поэтому я начну.

V. День святого Димитрия — такой же большой праздник, как Панафиней в Афинах или Панионию в Милете; это — величайшее македонское торжество, и стекается на него народ не только тамошний, македонский, но всяческий и отовсюду: греки из разных областей Эллады, мисийские племена, населяющие пространство вплоть до Истра и пределов Скифии, кампанцы, италийцы, иберы, луситанцы, кельты из-за Альп. Коротко говоря, даже побережье Океана посылает молящихся поклониться этому святому — так велика его слава по всей Европе. Я же, человек из дальней Каппадокии, не бывавший на этом празднике, а питавшийся только слухами о нем, жаждал стать очевидцем пышного зрелища и позаботился, чтобы ничто не ускользнуло от моего внимания. Для этого я устроился на холме, возвышавшемся рядом с ярмарочной площадью, и без помехи все разглядывал. Ярмарка выглядела так: палатки купцов, выстроенные одна против другой, тянулись ровными рядами; отстоя далеко друг от друга, эти ряды создавали в середине широкий проход для густых толп народа, снующих по ярмарке; взглянув на эти густо застроенные ровные улицы, ты сказал бы, что это [параллельные] линии, протянутые в даль из разных точек.

Под углом к ним шли стройные ряды других палаток; этих было немного, так что они выдавались незначительно и выглядели короткими лапами какого-то пресмыкающегося. Это было любопытное зрелище: палатки, в действительности, тянулись двумя рядами, но симметричность их расположения и густота создавали видимость единого тела, ибо перед глазами вставало чудовище из ларей, опирающееся, как на лапы, на расположенные под углом палатки. Клянусь нашей дружбой, когда я с холма глядел на этот строй лавок, они представлялись мне многоножкой с длинным туловищем и массой коротеньких лапок на брюхе.

VI. Если же тебя, мой любознательный друг, интересуется, что заполняло прилавки и что я увидел, спустившись с холма, — то представь себе, — все на свете, что создается руками ткачей и прях, все решительно товары из Беотии и Пелопоннеса, все, что торговые корабли везут к эллинам из Италии. Немалую долю вносят также Финикия, Египет, Испания и Геракловы столпы, славящиеся лучшими в мире коврами.

¹ Гомер. Илиада, XVII, I. В тексте цитата умышленно искажена, поэтому даем ее в собственном переводе.

Все это купцы привозят прямо в древнюю Македонию и Фессалонику, а города Евксинского Понта сначала посылают свои товары в Византий и лишь затем обогащают ими ярмарку: множество вьючных лошадей и мулов везут из Византии их дары. Правда, все эти вещи я увидел позднее, когда спустился. Но еще наверху я дивился множеству всевозможных животных, голоса которых, сливаясь в мощный многоголосый рев, наполняли мне уши: кони ржали, быки издавали мычание, овцы блеяли, поросята хрюкали, лаяли собаки, сопровождавшие хозяев и охранявшие порой от волков, порой от грабителей.

Вдоволь налюбовавшись на все и насытившись виденным, я, отверженный к другого рода зрелищам и, в первую очередь, к церковным торжествам, отправился в город. Праздник святого Димитрия длится три ночи кряду; сонм священников и монахов, образуя два полухория, возносит песнопения во имя мученика. Над этим сонмом поставлен архиерей, устрояющий празднество как подобает и смотрящий за исполнением обряда. Празднество всенощное, и справляется оно при свечах и факелах, „а как Заря розошерстая вышла из сумерек ранних“¹, говоря словами Гомера, в преддверии храма появляется эгемон Фессалоники, окруженный пышной толпой телохранителей; множество всадников и немало пеших составляют свиту и уготовляют его блистательный выход.

VII. Так как народ за городскими воротами напряженно дождался эгемона, с любопытством вытягивая шеи задолго до его появления, я также смешался с толпой зевак. Примерно на расстоянии стадия я заметил торжественный поезд и немалую усладу получил от этого зрелища. Что мне описывать окружавшую эгемона толпу, ничем не примечательную, состоявшую частью из крестьян, частью из городского люда? Зато его приближенные, подобало бы назвать их строем верных, являли, поистине, дивную картину: все в расцвете юности, исполненные сил, ученики и сподвижники воинственного Арея, украшенные пестрыми шелковыми плащами, кудрявые и белокурые. Взглянув на любого, ты бы вспомнил стих „Одиссеи“: ведь на затылке природа „кольцами кудри, как цвет гиацинта, ему закрутила“.² Горячие арабские иноходцы с гордой поступью были под отроками; на скаку они словно отрывались от земли и стремились ввысь. Казалось, они чувствуют себя участниками пышности, которая сказывалась в богатстве их золотом и серебром отделанной упряжи; словно тешась своей красотой, они круто изгибали шеи, чтобы взглянуть на этот золотой и серебряный блеск. Отроки приближаются размеренным шагом, воинским строем совершая путь. Отстав от них не на много, торжественно выступал эгемон. Его сопровождали и опережали зроты, музы и хариты. Какими словами, милый Кидион, передать тебе осенившие мою душу блаженство и опьянение ликованием?

Кид.: Скажи, друг мой, кто таков эгемон, какого он рода, как ты заметил его на дороге и рассказывая по порядку все остальное, исполняя мою прежнюю просьбу.

VIII. Тим.: Что касается происхождения эгемона, то, судя по тому, что я услышал в ответ на свои расспросы, и по отцовской, и по материнской линии он — потомок богатых и имеющих заслуги домов. Дед его со стороны отца, обладавший значительным богатством и пользовавшийся известностью, был первым из первых в Великой Фригии.

¹ Гомер. Илиада, I, 477.

² Гомер. Одиссея, VI, 230.

Так вот, старинные предания этого деда или [рассказы] о нем сделали древлеречие¹ его прозвищем. Отец эгемона не только „в премудрости древлей искусен“;² он — отважный воин и славится как стратиг; в награду за доблесть он получил прекрасную супругу. Ее род также знатный из знатнейших, в жилах ее течет царская кровь, и происходит она из прославленного дома Дук (род этот, как ты знаешь, знаменит великими подвигами; по мнению многих, он получил свое начало в Италии от потомков Энея, а впоследствии обосновался в Константинополе).

Нет человека, который бы не слышал о ее отце, украшенном достоинством ипата и огмеченном величайшими заслугами стратига, даровавшем дочери не только знатное происхождение, но и всяческие духовные совершенства. Все это я узнал от тогдашних моих спутников, знакомых с историей его рода. Немногое, вероятно, из многого и из великого лишь малое стало мне известно по недостатку времени. Но вернемся снова к прерванному рассказу и пойдем дальше.

IX. Итак, во главе шествия, прокладывая дорогу, двигался, как я сказал, отряд воинов. Только затем, словно прервалась сплошная цепь, отстав немного от юношей, показался пышный дука. Ни вечерняя, ни утренняя звезда не являются так дивно, как в этот час предстал перед нами он. „Блестящи очи его, как от вина, и зубы его белы, как млеко“.³ Дука строен телом, высок ростом, прекрасен и соразмерен всеми членами, так что к нему можно отнести известные слова: „нельзя ничего ни отнять, ни прибавить“. Стан его высок и строен, как кипарис, но шея, изгибаясь, несколько клонится долу, словно природа, умеряя чрезмерность его роста, создала этот изгиб, чтобы дука свободно поворачивался навстречу всему. Прежде остального, еще из далекой дали, ты замечал его взор. А когда дука приблизился к нам, стоявшим на дороге и с естественным благоговением дожидавшимся его появления, все в нем стало казаться каким-то изменчивым и неуловимым. Подобно питью, что „с полезными зельями вместе и горечи много содержит“,⁴ выражение его глаз менялось, являя временами прелесть Афродиты; когда ты взглядывался в него пристально, взор его выражал суровость Арея, а немного спустя — величие самого Зевса. Затем глаза эгемона, которые он пристально вперял во все окружающее, совершенно уподобились очам Гермеса — так остры и живы они были; взор как бы пояснял его речи и придавал им убедительность. В таком блеске достоинств предстал предо мною дука в этот день.

Волосы его не совсем черны и не очень светлы; смягчая резкость этих цветов, смешение их создавало какой-то удивительно приятный оттенок. Ведь черные волосы кажутся неприбранными и некрасивыми, белокурые же женственны и слишком нежны, а смешение того и другого цветов в мужественность облика вносит некоторую мягкость. Не меньшая искусница, чем сама Сафо, природа с тщанием брильянтищика ювелира отдала его речь, создав ее полной убедительности, прелесть и музыкальной соразмерности. Восхищенный ею, ты, несомненно, воскликнул бы, как спартанцы: „Воистину, божественный муж!“ Вероятно, — друг мой, и ты был бы рад услышать его.

¹ *παλαίολόγος*.

² Гомер. Одиссея, II, 188. Ввиду невозможности выделить эти слова в имеющихся переводах, даем свой перевод.

³ Бытие, XLIX, 12.

⁴ Гомер. Одиссея, IV, 230. Стих перефразирован. (Перевод наш. — С. П. и И. Ф.)

Х. И вот, как только этот доблестный муж вступил в святой храм и обратился с молитвой к мученику, народ стал по обычаю славословить своего эгемона. Дука встал на отведенном для него возвышении и призвал к себе архиерея — так, вероятно, предписывалось правилами или обычаем. Когда затем с великим тщанием (ибо присутствовали столь высокие посетители) были исполнены все подобающие этому дню обряды, зазвучало истинно-ангельское пение, благодаря ритму своему, тону и полной совершенства смене оттенков, становившееся все более сладостным. Песнопение исполняли не только мужчины; женщины, святые монахини, стоя в левом крыле храма и разделенные на два полухория, тоже принимали участие в прославлении мученика. По окончании службы и поминальных обрядов, я, воззвав к святому, испросил у него счастливого возвращения, затем вместе со всем народом и дукой вышел из храма и отправился домой. Какими словами, Кидион, перескажу я тебе все ужасы, которые случились со мной после этого? Если при одном только упоминании о них меня охватывает глубокая печаль, представь себе, что я перенес, познакомившись с тяжелыми бедами и губительными недугами.

Кид.: Говори же, милый Тимарион, и рассказывай о своих мытарствах, ведь из-за них-то я и стремился услышать твою историю. А обо всем прочем ты уже поведал достаточно подробно.

XI. Тим.: Так вот, Кидион, когда после богослужения я добрался до своей гостиницы, меня скрутила жестокая лихорадка; за одну ночь она довела меня до полусмерти и, как я ни торопился поскорее возвратиться в родные края, крепко-накрепко приковала к постели. Она, милый друг, и была причиной задержки, о которой ты спрашивал в начале нашей беседы. Мне казалось необходимым переждать приступ, чтобы, распознав характер болезни, применить надлежащее лечение. День я провел сносно, вероятно, благодаря тому, что питался одной зеленью с уксусом, а на следующий (т. е. на третий от начала болезни) лихорадка снова повторилась, и стало совершенно ясно, что она перемежающегося свойства, ибо врачебное искусство точно определило ее особенности. С этого часа я стал считать болезнь неопасной и, надеясь, что после пятого приступа она и вовсе пройдет (ибо такова ее природа), смело пустился в обратный путь, рассчитывая, что быстро поправлюсь и благополучно вернусь домой. Но на деле облегчение оказалось лишь началом страдания и предвестием смерти. Ведь когда приступ лихорадки прошел, за ним последовало воспаление печени и сильнейший понос, в результате которого я вместе с кровью терял один из основных элементов организма — желчь; понос снес мое тело и терзал желудок подобно змее.

XII. Таким образом, многие напасти разом завладели моим телом. Прежде всего — тяготы путешествия, способные не меньше, чем болезнь, свалить и более крепкого человека; затем — воспаление печени, этот непрестанный внутренний жар, понос, подобный верной смерти, рези во внутренностях, словно когтящие железом и, вдобавок к этому — долгий пост, прямым путем ведущий в могилу. Вьючная лошаденка тащила меня в Византий, измученного всеми бедами, словно безжизненный тюк. До поры до времени, милый Кидион, пожалуй, большую часть пути, мое жалкое обессиленное тело это выдерживало, но, когда мы приблизились к Гебру, самой знаменитой реке во Фракии, вместе с путешествием оборвалось и мое существование: мне не суждено было жить дольше.

Здесь сон, отец пресловутой и...¹ смерти, охватив меня, не знаю, как и рассказать об этом, увлек за собой в аид. Я дрожу от страха, когда вспоминаю все пережитое, и ужас лишает меня голоса.

Кид.: Ты не уйдешь от меня, милый друг, прежде чем не расскажешь о своем пребывании в подземном царстве.

XIII. Тим.: Так вот, Кидион, потому что тело мое было вконец обессилено, как поносом, так еще более того двадцатидневной голодовкой, я погрузился в последний, видимо, сон. В мире, как известно, существуют некие демоны-мстители, по божьему промыслу карающие преступивших его законы, и благие, благом воздающие благочестивым, а также демоны-проводники, которые низводят отделившиеся от тела души к Плутону, Эаку и Миносу, чтобы после испытания по законам и обычаям подземного царства, определилась там их участь и место. Так, Кидион, случилось и со мной; еще до полуночи к моей постели, лежа на которой я только начал забываться, спустились по воздуху темные обликом тенеподобные существа. Едва заметив их, я оледенел от неожиданности и лишился дара речи; как я ни напрягал голос, он мне не подчинялся.

Была ли это явь или сон, я не сумею сказать, ибо от страха лишился способности ясно мыслить. Во всяком случае, видение было таким отчетливым и определенным, что до сих пор словно стоит перед моими глазами. Да, столь ужасные приключились со мной тогда, друг Кидион, вещи. Стоящие над моей постелью демоны словно наложили нерушимые оковы мне на уста то ли своим внушающим ужас видом, то ли благодаря какой-то тайной силе и, лишив меня способности говорить, зашептались друг с другом: „Это — тот самый, — сказали они, — который утратил один из элементов своего существа, так как потерял всю желчь; он не может дольше жить, располагая лишь тремя остальными. Ведь в аиде высечено на стеле изречение Асклепия и Гиппократы, гласящее, что человеку невозможно существовать, лишившись одного из четырех составляющих его организм элементов, хотя бы тело его было в остальном еще крепким. Поэтому, несчастный, — прибавили они уже полным голосом, — следуй за нами и, как мертвец, соединишься с мертвыми“.

XIV. Хотя и против воли, я последовал за ними (что же мне, не имеющему никакой поддержки, оставалось делать?), подобно им несясь по воздуху, легко, без усилий, лишенный тяжести, не делая движений ногами, как бегущие с попутным ветром корабли, не зная помехи, устремляясь вперед и вперед, так что можно было слышать легкий свист нашего полета, подобный звуку пущенной из лука стрелы.

Когда мы, нисколько не намкнув, переправились через реку, которую молва нарекла Ахеронтом и мои спутники тоже называли так, то приблизились к какому-то отверстию в земле, немного большему, чем обычный колодезь. Зияющий оттуда мрак показался мне отвратительным и страшным, так что я не хотел спускаться. Но демоны заставили меня итти в середине, а затем один из них, вниз головой ринувшись во тьму, угрожающим взглядом велел и мне следовать за собой. Я стал сопротивляться, руками и ногами цепляясь за края колодезя, пока оставшийся на поверхности демон, нанося удары по щекам и спине, не столкнул меня в эту черную дыру. Затем мы прошли долгий путь по мрачной пустыне и, наконец, достигли железных ворот, которые закрывают вход в подземное царство. Никому невозможно спастись

¹ В тексте лакуна.

отсюда бегством: ворота ужасны и величиной своей, и тяжестью, и крепко кованой обшивкой. В них нет ничего из дерева, а все из самого твердого железа; они наглухо затворяются железными засовами невероятного размера, тяжести и толщины.

XV. Перед воротами — стража; драконы с огненными глазами и клыкастый пес, которого эллины называли Кербером, страшно сказать, какой свирепый и ужасный, а по ту сторону, подобные теням мрачного вида привратники с отвратительными лицами, заросшие [волосами] и высохшие, словно они спустились сюда прямо из разбойничьего вертепа в горах. Хотя вид их был так устрашающ, заметив моих проводников, они услужливо открыли ворота. Кербер, виляя во все стороны хвостом, приветливо завизжал, драконы зашипели умиротворенно, и демоны повели меня, уже совершенно покорного. Да и как мне было сопротивляться, когда я ни в ком не мог найти поддержки и был обречен на страшное и неведомое мне существование? Едва я ступил за ворота, привратники пристально взглянув на меня, сказали: „Это — тот самый, о ком вчера говорил у Эака и Миноса, что он, потеряв одну из составных частей своего организма и живя с остальными тремя, т. е. без желчи, остается на земле вопреки учению Гиппократата, Асклепия и всего врачебного сонма.

Ну, вводи же этого безумца, позволяющего себе рассуждать об особенностях человеческого организма! Ведь где это видано, чтобы смертный, без одной из четырех основных жидкостей, продолжал оставаться на земле и жить земной жизнью?!“

XVI. Кид.: Все это, милый Тимарион, очень страшно, я понимаю, и сам содрогаюсь от одного твоего рассказа. Но как же, скажи, тебе удалось в такой темени рассмотреть лица привратников и как следует разглядеть все остальное?

Тим.: Аид, друг мой, погружен в полный и непроницаемый мрак, но там пользуются искусственным светом — лучинами, угольями, факелами, — это в ходу у простого народа. А те, кто в прежней жизни были имениты и богаты, зажигают лампы и живут при ярком освещении. Я встречал много таких, когда посещал жилища мертвецов и их трапезы.

Кид.: Рассказывай теперь, пожалуйста, по порядку!

Тим.: Так вот, когда железные ворота закрылись за нами, мы перестали нестись по воздуху, как прежде, со свистом и быстротой, словно торопясь пройти здесь, как по вражеской земле, но стали двигаться неспеша, пешком, медленной поступью, то ли потому, что мои спутники устали от непрерывной гонки, а может быть безжалостные все-таки пожалели меня. Мы миновали множество убогих домишек бедняков, и повсюду их обитатели выходили навстречу моим проводникам и почтительно вытягивались перед ними, словно дети перед учителем.

XVII. Вдруг мы подходим к залитому светом дому; перед ним, прямо на земле лежал старик с небольшой бородой. Он облокотился на левую руку, подпирая ею щеку. Рядом с ним стояла большая медная чашка, наполненная соленой свининой и фригийской капустой, плавающими в жиру. Старик раздумчиво запускал туда руку, загребая еду не двумя или тремя пальцами, а всей пятерней и жадно подносил к губам, словно подхватывая на лету. На вид он казался приветливым и беззлобным и на проходящих глядел добродушно и даже ласково. Взглянув на меня кротко и дружески, он сказал: „Подойди сюда, садись рядом со мной и угощайся; отведай здешней еды“. Но я не

согласился — и потому, что перемена судьбы вывела меня из равновесия, и потому, что боялся как бы провожатые не пустили в ход кулаки. Они на каждом шагу обменивались приветствиями с мертвецами, словно вернулись из долгого путешествия и все время останавливаясь, чтобы побеседовать, давали и мне возможность присмотреться к здешней жизни.

Пока я разглядывал этого старика, ко мне подошел какой-то простолюдин, человек как будто вполне приличный, и стал подробно обо всем расспрашивать: кто я, и откуда родом, и какой вид смерти привел меня в аид. Я рассказал ему все чистосердечно и по порядку.

XVIII. Поскольку этот человек вступил со мной в разговор, я, в свою очередь, спросил его, кто тот старик и как его зовут. А добрейший мой собеседник, ставший отныне мне другом, сказал: „Не спрашивай, пришелец, его имени потому, что тебе небезопасно задавать этот вопрос, а мне — на него ответить. Законы Эака и Миноса определили суровое наказание тем, кто спрашивает или сообщает имя этого старика. Согласно их велению, многое из того, что связано с ним, должно сохраняться в тайне, а то, что можно, я тебе расскажу. Родом он из Великой Фригии и, как говорят, отпрыск знатной и прославленной семьи. Он прожил свою жизнь достойно, умер бодрым стариком и теперь, как видишь, проводит здесь дни, купаясь в жиру“. Так сказал мой новый приятель; я в это время оглянулся, и на глаза мне вдруг попались две жирные, толстые, лоснящиеся мышцы, похожие на поросят, которых хозяева откармливают пшеничной мукой и отрубями. В волнении от этого неожиданного зрелища я снова заговорил: „Добрейший друг, здесь в аиде в самом деле так же ужасно и отвратительно, как это изображается живыми людьми в их проклятиях. Но что и у вас водятся мышцы — это кажется мне самым нестерпимым; ведь меня, из-за отвращения к мышам, несколько примиряла с переселением сюда надежда, что я избавлюсь от этих тварей. А раз мне и здесь суждено воевать с ними, пусть я снова умру и вторично низойду уж не знаю в какое царство!“

XIX. Немного помолчав, этот добряк снова обратился ко мне: „Я удивляюсь, друг мой, твоей необразованности и неосведомленности в самых простых вещах. Неужели ты не знаешь, что мыши — землеродные и что во время засухи, когда поля начинают покрываться трещинами, они через эти трещины выползают на поверхность? Ведь им, по правде, больше пристало водиться под землей и жить в аиде, чем наверху, в домах живых, так как рождаются они здесь и уже отсюда выползают на поверхность. Поэтому дивись не тому, что у нас есть мыши, а тому, что они ручные и живут бок о бок с человеком, не ведая страха перед кошками. Разве ты не видишь, как радостно они следят за этим поедающим солонину стариком, как веселятся, двигают челюстями и облизывают морды языком, будто им достается больше жиру, чем самому хозяину“. И правда, когда я пригляделся к мышам, все так и оказалось, как он говорил. „Замечаешь ли ты, — продолжал мой собеседник, — как они нацелились на его бороду и только и ждут, когда он заснет. Едва они услышат храп, который старик издает во сне, они тут как тут — облизывают его подбородок, измазанный жирной едой, лакомятся доотвала приставшими крошками и остатками и живут этим, как видишь, весьма недурно“.

XX. Небольшая задержка моих провожатых позволила мне узнать все это; вскоре они двинулись с места и, снова пустившись в путь, мы сделали около четырех стадиев и миновали множество домов, пока

не оказались у белоснежного шатра, залитого светом ярких ламп, откуда доносились тяжкие стоны. Я оглянулся вокруг и увидев, что мои спутники снова остановились побеседовать с мертвецами (с которыми они, очевидно, были хорошо знакомы и дружны), незаметно, таясь от их глаз, подошел к шатру и стал разглядывать, что делается внутри и кто так мучительно горько стонет. Там на земле лежал какой-то человек с выколотыми глазами; он покоился на левом боку, опираясь на локоть; ложем ему служил лаконский ковер. Незнакомец был хорошего роста и, хотя не очень плотен, ширококост и с мощной грудью.

„В полный он рост распростерся, забыв о своих колесницах¹
 не был подобен
 Мужу ядущему хлеб, но утеса лесистой вершине“.²

Возле него сидел какой-то старец, стараясь уговорами и увещаниями облегчить его тягчайшие муки. Но несчастный как будто не хотел внять ему; он то и дело покачивал головой, отстраняясь от старика. Из рта у него струей тек яд.

XXI. Когда я хорошенько разглядел внутренность шатра и, обернувшись в сторону своих провожатых, быстро отошел и стал их разыскивать, я столкнулся вдруг с каким-то давним, судя по виду, здешним жителем, совершенно выхоженным, как обычно бывают те, кого сводят в могилу изнурительные лихорадки. Едва взглянув, он по цвету моего лица сразу же понял, что я здесь не старожил (ведь покойники, попадающие в аид, некоторое время сохраняют следы живого румянца и по этой примете их отличают без труда) и, приблизившись, сказал: „Привет тебе, пришелец, расскажи мне, что делается наверху. Сколько скумбрий дают теперь на обол? Сколько тунцов разной породы и селедочек? Почем оливковое масло, вино, хлеб и все остальное? Чуть не забыл спросить у тебя самое главное — каков нынче улов сарделей? Когда-то в той жизни я ими лакомился с наслаждением и предпочитал их зубатке“. Так он спрашивал, и на все вопросы я ответил сущей правдой. А рассказав ему, как обстоят дела на земле, я сам пожелал узнать, кто обитатель шатра, что за старец сидит над ним и какова причина стонов.

XXII. Этот добрый человек стал рассказывать: „Обитатель шатра, чьи стенания ты слышал, — знаменитый Диоген из Каппадокии.

При жизни ты, конечно, знал его историю: как он достиг царства, как пошел походом на восточных скифов, как попал в плен, как впоследствии снова обрел свободу, но, придя в Византий, не вернул себе трона. Во время войны он попал в руки своих врагов и теперь, как видишь, слеп, благодаря их предательству, и, вдобавок, коварно опоев им губительным ядом. Сидящий подле него старик — один из знатнейших людей Великой Фригии, ближайший советник и сподвижник Диогена при жизни. И теперь, скорбя о его участи, он, в память старинной близости, неотлучно находится при Диогене и стремится, по мере сил, облегчить ему воспоминание о перенесенных муках подобающими словами и увещаниями“.

Такое поведал мне этот простодушный человек. Тут опять появились мои проводники и стали меня подгонять, говоря: „Торопись предстать перед судилищем и освободить нас“.

„И здесь, — воскликнул я, — суды, разбирательства и приговоры, совсем как на земле!“

¹ Гомер. Илиада, XVI, 775 (перевод наш. — С. П. и И. Ф.).

² Гомер. Одиссея, IX, 191 (перевод наш. — С. П. и И. Ф.).

„Тут-то им и место, — отвечали демоны, — ибо тут тщательнейшим образом взвешивается вся человеческая жизнь, и каждому воздается по заслугам, и решения этого суда непреложны“.

XXIII. Такие разговоры мы вели по пути, а пройдя еще немного, встретили человека высокого роста, с совершенно седыми волосами, очень изможденного; он, впрочем, был приветлив и словоохотлив, разговаривая, надувал щеки и широко улыбался.

„Привет вам“, — сказал он моим спутникам, — и спросил: „Кто этот новый обитатель аида, которого вы только вводите сюда?“ С этими словами незнакомец повернулся ко мне и, пристально на меня уставившись, стал внимательно изучать мое лицо.

Немного помолчав он громко и радостно воскликнул: „милостивые боги, да ведь это Тимарион! Мой милый Тимарион, с которым мы не раз делили пышные трапезы, который посещал мои лекции в пору, когда я занимал кафедру риторики в Византии“. Он обнял меня обеими руками и от всей души расцеловал. А я замер, устыженный дружеским приемом человека, по всей видимости, значительного, которого я, однако, не узнавал; я не мог понять, ни кто это такой, ни как этого человека надлежит приветствовать. Он заметил мое замешательство и поспешил избавить меня от него словами: „Неужели, милый друг, ты не узнаешь Феодора из Смирны, знаменитого ратора, чья слава в искусстве произнесения пышных торжественных речей гремела на весь Византий?“

Выслушав это, я ужаснулся теперешней худобе Феодора и всему его облику.

„Учитель, — сказал я, — я помню и голос, и блеск речей, и манеру говорить, и статность, присущие при жизни Феодору Смирнскому. Но, что тело его поражено подагрой, что перед императором он говорил, только если его приносили на носилках, что даже есть ему приходилось в постели, приподнявшись на локте, — это не вяжется у меня с твоим прежним здоровым и цветущим видом“.

XXIV. „Я разрешу, дорогой ученик, и это твое недоумение, — сказал Феодор. — На земле, в той жизни, произнося речи для услаждения императоров, я получал в награду много золота и достиг значительного богатства, которое тратил на пышный стол и сибаритские пиршества.

Ведь ты и сам, как частый мой гость, знаешь, какая поистине царская роскошь отличала эти трапезы. Отсюда моя подагра, узлы на пальцах, обильная слизь, сковывающая мне суставы и делающая их неподвижными. Это породило боли, которые терзали мне душу и тело; с той поры я стал болеть и обессилел. Здесь внизу у меня все иначе: философский образ жизни, простой стол, спокойная и, можно сказать, беззаботная жизнь. Я обуздал свой прожорливый желудок кресс-салатом, мальвой и асфоделем и теперь только понял правоту мудрого беотийца. Ведь люди не знают,

„что на великую пользу идут асфодели и мальва“.¹

Коротко говоря, прежняя моя земная жизнь — это были софистические ухищрения и радующая толпу словесная игра, теперешняя же — философия и подлинное знание, чуждое пустословия и суетного тщеславия.

Я поведал тебе все это из желания покончить с твоими заблуждениями и возобновить нашу прежнюю близость. Теперь ты знаешь обо мне все; в свою очередь, расскажи просветившему тебя, какой смертью ты сведен в могилу и каков повод твоего переселения сюда“.

¹ Гесиод. Труды и дни, ст. 41 (перевод В. Вересаева).

XXV. „По правде сказать, — отвечал я, — никакого повода для этого не было, любезный учитель: ни вражеского меча, ни нападения разбойников, ни несчастного случая, ни продолжительной болезни, которая снедала бы мое тело, но, как мне кажется, только произвол вот этих моих спутников, насильно исторгнувших меня из тела, еще вполне жизнеспособного. Чтобы ты узнал все по порядку, с начала до конца, скажу, что, посетив Фессалонику и уже собираясь в обратный путь, я свалился от жестокой лихорадки, вызванной воспалением печени и сопровождавшейся сильнейшим поносом. Я истекал желчью, лишь слегка окрашенной кровью. Понос мучил меня непрерывно до самого Гебра; ты, конечно, помнишь эту широкую и судоходную фракийскую реку.

На берегу ее я остановился в какой-то гостинице, желая дать отдых и себе, и лошадям, и в этот вечер не страдал от болезни. Поэтому я решил провести там еще одни сутки и, действительно, поступил так. Настала ночь, все в доме погрузилось в глубокий сон; уснул и я.

В недобрый час — около полуночи, когда я еще грезил, эти злобные демоны подходят к моей постели. Увидев их, я потерял голос и не в силах был стряхнуть забытие. В таком состоянии я и был отторгнут от тела, ничего не услышав о причине, кроме слов: „Это человек, который лишился всей желчи — одного из основных, составляющих организм элементов; по приговору Асклепия, Гиппократы и всего врачебного сонма ему нельзя дольше жить“ и затем:

„Несчастный должен быть разлучен со своим телом“.

XXVI. Так они сказали. Теснымым не знаю какой силой, я был сдвлен в своем собственном теле, словно комок шерсти, и мгновенно вытолкнут через ноздри и рот, подобно дыханию. Теперь, как видишь, я низведен в ад и вспоминаю стих:

„Быстро от тела умчалась душа и в ад опустилась“.¹

Однако, если справедливы рассуждения наших злосчастных софистов о предопределении, я еще не исполнил своего земного срока и был отделен от тела насильственно. Теперь, поскольку в подземном царстве существуют суды и разбирательства, исправляющие несправедливость, поддержи своего ученика, когда он внесет жалобу на беззаконие этих преступных демонов“.

Во время этого рассказа я проливал слезы, и Феодор, тронутый ими и полный сострадания, ответил: „Не теряй мужества, друг мой, — я сделаю для тебя даже то, что превышает мои силы, и могу смело пообещать, что ты покинешь ад, чтобы жить во второй раз и обрести столь желанное тебе воскресение. Смотри только, не забудь прислать мне с земли все, по чему я соскучился — моей любимой еды“.

XXVII. „Слова твои, блистательный наставник, — сказал я, — прежде чем они успели осуществиться, — кажутся мне невероятными, чудесными и поистине подобными тем загадочным существам, которыми ваятели и живописцы украшают здания, — гиппокентаврам, сфинксам и другим мифическим тварям древних.

Объясни мне, однако, прославленнейший из риторов, на что ты надеешься, обещая освободить меня отсюда, когда вдобавок ко всему судьбы — Эак и Минос — эллины и враждебны мне, галилеянину, и ты сам — ученик и последователь Христа“.

„На что я надеюсь, — отвечал Феодор, — и тебе хорошо известно. Я ведь обладаю гибкостью ума, которая легко побеждает все доводы

¹ Гомер. Илиада, XVI, 856.

противника и помогает быстро отвечать на любой вопрос и любое возражение, а также находчивостью в выборе надлежащих средств, речью плавной и вместе с тем ясной и, наконец, познаниями в медицине.

Благодаря этому я при самых ничтожных возможностях сумею одолеть пресловутых эллинских богов-делителей.

XXVIII. Ведь Асклепий при своей дутой славе и ложной божественности уже много лет не издает ни звука; а если его заставляет нужда, когда к нему обращаются с вопросами (сам он старательно устраняет всякий повод для беседы), спрашивающий должен строить свою речь в расчете на утвердительный или отрицательный ответ, и Асклепий, в зависимости от своего решения, кивает или отрицательно качает головой; таковы, видишь ли, его вещания.

Гиппократ же, если и говорит, то немного, одну, самое большое две фразы и те в весьма загадочной, совсем не подходящей для судебных речей манере и вдобавок чудно, вроде, например, такого: „Размягченное очищать и приводить в движение, а непереваренное отнюдь“. Или: „При расстройстве желудка и рвотах“. Все это только забавляет судей, говорящих на другом языке¹.

Минос ведь критянин, а Эак — фессалиец, настоящий эллин из древней Эллады; если какой-нибудь иониец или дорянин из попадающих в аид покойников попробует у них разговаривать по-своему, они издеваются над ним и прямо покатываются со смеху.

Что касается Эрасистрата, то он совершенно не посвящен ни в какую премудрость и чужд грамматике; не очень тверд он также и в медицине, а свою жалкую и пустую славишку приобрел лишь благодаря опыту, природной сообразительности и тому, что брался за все. Только поэтому он угадал страсть Антиоха к Стратонике и с тех пор был, как только можно, превознесен.

XXIX. А божественный Гален, которого я трепещу больше, чем остальных, по божьему, может быть, соизволению не участвует сейчас в совете врачей; причина, которой он это объясняет, как я сам недавно слышал — его книга „О различных видах лихорадок“. Теперь он сидит где-нибудь в углу и, спрятавшись от суетоки и шума, восполняет пробелы в своем сочинении. Как-то он даже сказал, что дополнения будут больше того, что уже написано. Так вот, поскольку Гален отсутствует, мне не составит труда взять верх над этими бессловесными знаменитостями.

Ты только не бойся того, что судьи язычники; они в высшей степени преданы справедливости и за это удостоены судейских кресел.

Вера предстоящих перед ними их нимало не заботит, ибо всякому, по его желанию, дозволено придерживаться своей.

Теперь, когда галилейская вера распространилась по всей земле и подчинила себе и Европу и большую часть Азии, провидению угодно было присоединить к прежним эллинским судьям одного христианина. Феофил, который был некогда императором в Византии, вместе с ними творит ныне суд, и ни одно решение не имеет силы без его согласия. Ты, конечно, знаешь от тех, кто описывал его жизнь, сколь бесконечно справедлив он был, поэтому нет опасности, что мы будем обойдены вниманием или не добьемся справедливости; лишь бы нам предстать, наконец, перед судом.

¹ Не представляется возможным передать оттенок ионийского диалекта, на котором писал Гиппократ, проявляющийся здесь только в особенностях падежных окончаний и отсутствии слияний в глагольных формах.

Воздержись только от выступления, ибо ты не знаком с ведением судебных дел, и предоставь мне право говорить за тебя“.

XXX. Между тем, подошли мои проводники и стали расспрашивать Феодора, знает ли он меня. Он отвечал, что я его ученик, и прибавил: „Я отправлюсь теперь вместе с вами, чтобы выступить за него на суде, против вас, причинивших ему такую несправедливость и до срока похитивших из жизни“. Так он сказал, и мы все вместе пошли вперед; пройдя около пятнадцати стадиев по этой мрачной и темной местности, мы вдруг замечаем мерцание какого-то света.

По мере того, как мы подходили ближе, он становился все ярче, и так, постепенно выйдя из мрака, мы оказались на залитой светом равнине, омываемой водой, поросшей всевозможными деревьями, через которую протекала полноводная река. В пестрых рощах громко и мелодично пели птицы, земля была сплошь устлана травой и, как я услышал от Феодора, давно уже изучившего все в аиде, здесь никогда не бывает ни зимы, ни смены этого цветения; все нетленно и никогда не старится: деревья всегда отягчены спелыми плодами, всегда стоит весенняя пора,¹ ничто не меняется и не подвержено увяданию. Это и были знаменитые на земле Елисейские поля и Асфаделев луг. Так просвещал меня мой софист, когда мы впервые заметили издали разлитое здесь сияние.

XXXI. Дойдя до этого залитого светом места, мы, по просьбе Феодора, опустились на траву, чтобы немного отдохнуть, а затем отправились дальше по направлению к судилищу.

Как человек не знакомый с судебной премудростью и, кроме того, непривычный говорить, я чувствовал сильное беспокойство и, подойдя к учителю, поведал ему свои опасения. Он же мудрыми словами вдохнул в меня бодрость и уверял, что все решится в мою пользу. „Смотри только, — говорил он, — чтобы ты, ожив вновь, прислал мне с земли то, по чему я скучаю. Ведь с тех пор, как я попал сюда, мне не привелось еще попробовать даже похлебки, сдобренной свиным салом. Все что нужно, я потом растолкую, когда судьи разрешат тебе возвратиться на землю“.

Пока мы вели такого рода беседы и продолжали идти вперед, на расстоянии полета стрелы показалось судилище, где как раз завершилось рассмотрение дела о несправедливом умерщвлении Цезаря Кассием и Брутом.

Каково было решение — не могу сказать, потому что мои помыслы целиком занимала собственная судьба, и я совершенно был поглощен ею.

XXXII. Пока Кассий и Брут выходили из судилища, ко мне приблизились тамошние служители и спросили: — „А ты что скажешь, мертвец? Ничего, тебя скоро введут!“ Мой софист, слегка оттолкнув меня локтем, сам взял слово.

„О служители закона, — обратился он к ним, — скорее введите нас к справедливейшим судьям, и вы станете свидетелями тягчайшего и нечестивейшего из хранимых человеческой памятью преступлений, которое эти прекрасные люди совершили по отношению к злосчастному Тимариону.

Но раз нас, по здешним законам, охраняет ваше покровительство, мы свободны от своих злокозненных проводников и будем жаловаться Миносу, Эаку и Феofilу из Византия на этих преступивших закон и справедливость мужей. Хватайте их и ведите в судилище, пусть дадут

¹ Так в тексте.

ответ, на каком основании они пренебрегли установлениями подземного царства. Разве дозволено в аиде отторгать душу от тела еще жизнеспособного настолько, что больной сидит в седле и ежедневно поглощает по целой курице?!“

XXXIII. Как только Феодор произнес эти слова, служители, схватив моих проводников, ввели их вместе с нами внутрь и все мы предстали перед Эаком, Миносом и галилеянином Феофилом.

На эллинах была просторная одежда, головы, как у арабских военачальников, покрыты чалмой, на ногах высокие цвета фиалки крепиды.

Ничего пышного или яркого не было, напротив того, на Феофиле; он был одет с величайшей простотой и даже небрежно во все темное. По рассказам, он и в пору своего царствования был таким же — неказисто и без роскоши одетым, зато блистал и был славен правым судом и другими добродетелями. Хотя Феофил был столь небрежен в costume, глаза его сияли, а лик был чист и спокоен.

Рядом с ним стоял некто в белом одеянии, безбородый, похожий на евнуха из покоев императрицы; и он тоже был светел, и лик его сверкал, подобно солнцу. По временам он шептал что-то на ухо императору. Я стал говорить моему учителю: „В том, кто восседает на судейском кресле я, благодаря твоему недавнему рассказу, узнаю Феофила из Византия, а кто стоящий подле него евнух — не могу догадаться“. Феодор ответил: „Неужели, дражайший Тимарион, тебе неизвестно, что при каждом христианском императоре есть ангел, который руководит его поступками. И сюда, в аид, они следуют за императорами подобно тому, как не оставляют их при жизни“.

Пока мы обменивались такими речами, служители судилища дали знак, чтобы водарилась тишина; мой софист надул по своему обыкновению щеки, придав лицу значительное выражение и, потирая руки, громким голосом стал говорить.

XXXIV. „Тимарион, сын Тимоника, обвиняет Оксибанта и Никтиона, проводников усопших. Законы подземного царства недвусмысленно гласят, что душа до тех пор не должна быть низведена в аид, пока тело целиком или в одной из существенных своих частей не будет разрушено и не лишится душевных сил; что даже после того, как они разобьются, душа, пребывая вне тела, целых три дня должна находиться рядом; только по прошествии этого срока проводникам усопших дозволяется овладеть ею. И все же Оксибант и Никтион презрели эти божественные установления и, когда Тимарион был еще здоров, ел, пил и сидел в седле, они, эти не в меру исправные и рьяные проводники, в гостинице на берегу Гэбра, появились перед ним среди ночи и насильно отторгли от тела душу, еще неразрывно с ним соединенную и не поддающуюся их воле, от чего она до сих пор не успела зажить, и с нее продолжает каплями струиться кровь; ведь душа Тимариона, когда проводники насильственно овладели ею, была прочно связана с телом.“

Поэтому, о судьи, справедливо, чтобы Тимарион вновь вернулся на землю, обрел собственное тело и сполна прожил отпущенный ему судьбою срок. Лишь после этого, когда наступит естественный предел его существования, ему надлежит быть отторгнутым от своей плоти, вновь низведенным в аид и неизбежно сопричисленным сонму мертвых“. Он кончил, и Минос, гневно взглянув на моих проводников, говорит: „Теперь ваша очередь отвечать, злокозненные! Знайте, что тяжелой будет расплата, если окажется, что вы действительно преступили законы“. На это более дерзкий Никтион заметил:

XXXV. „Мы, о божественные судьи, с незапамятных кроновых времен несущие эту службу, хорошо осведомлены обо всем, что касается мертвых, и знаем причины, по которым души низводятся в подземный мир. Этот злополучный Тимарион, как мы заметили, на пути из Фессалоники до величайшей фракийской реки потерял вследствие поноса четвертую часть необходимых для жизни элементов, т. е. желчь. Знаменитейшие врачи научили нас считать несогласным с законами природы, чтобы человек продолжал жить, буде он обладает лишь тремя основными элементами организма. Узнав, что Тимарион в течение тридцати суток истекал желчью, мы пришли и отозвали его душу, в уверенности, что ей не полагалось долее оставаться в таком ослабевшем теле.

Изрекайте же, справедливейшие судьи, ваш приговор, и мы беспрекословно подчинимся законам“.

Таково было оправдание моих проводников. Судьи недолго пошептались между собой и решили в этот день не принимать никакого решения. „Тут, — говорили они, — необходимо присутствие великих врачей Асклепия и Гиппократ; только при их участии может быть вынесен справедливый приговор, так как дело требует врачебных познаний. Поэтому, отложим пока разбирательство. Через два дня мы соберемся вновь и вместе с врачами разрешим вашу тяжбу“.

С этими словами судьи поднялись со своих мест и направились в более отдаленную часть луга. А нас обоих вместе с моими проводниками здешние служители повлекли в недавно покинутые мрачные урочища, но не в самую глубину их, а туда, где они граничат с Елисейскими полями, и порождаемый их сопредельностью свет кажется сумеречным.

XXXVI. Пока судьи предварительно обсуждали дело, Феодор наклонился к моему уху и прошептал: „Подойди вон к тому дереву (он показал пальцем на высокую, густую сосну), под ним ты найдешь различные овощи и обычные, и диковинные для тебя. Набери себе всяких — ничего вредного здесь не растет, но все приятно на вкус и годится в пищу и, раз уж тебе предстоит задержаться, мы вместе с удовольствием этим полакуемся. Здешние овощи, впитывая благоуханные дуновения и воздух, обладают приятным запахом и до того, как попадут в желудок, и впоследствии“.

Я с готовностью послушался учителя и, отправившись к сосне, набрал столько овощей, сколько мог унести. Не успел я вернуться назад, как все мы — и наши нынешние проводники, и мои прежние, с которыми у нас была тяжба, двинулись в путь. На пороге светлого и темного пределов мы провели двое суток, а с наступлением третьих встали, как сказал бы живой, почти с петухами и вновь направились к судилищу. Быстро совершив путь — никто не успел нас опередить — мы очутились перед судьями.

„В ризах шафранного цвета заря над землей распростерлась“.¹

Асклепий и Гиппократ, сидя рядом с судьями, совещались и решали, какого я заслуживаю приговора; они потребовали, чтобы глашатай судилища ознакомил их с три дня назад внесенной жалобой на Никтиона и Оксибанта, и он, как велит обычай, произнес: „Лица, три дня назад внесшие жалобу на Никтиона и Оксибанта, пусть приблизятся, дабы выслушать сейчас решение божественного суда“.

¹ Гомер. Илиада, XXIV 694; см. также VIII, 1.

XXXVII. Тут служители ввели нас всех, и истцов и ответчиков, перед лицо судей. Мой учитель обдумывал свою речь, а я внимательно разглядывал Асклепия и Гиппократ. Лица первого мне, однако, не удалось увидеть: оно было скрыто сверкающим покрывалом из золотых нитей, прозрачным лишь настолько, чтобы Асклепий мог все видеть, сам оставаясь невидимым — суетная гордыня терпящего пренебрежение божества. Гиппократ же напоминал араба в своей высокой, заостряющейся кверху чалме. На нем была одежда до полу, ничем не подпоясанная, сплошная от головы до пят, без выреза где бы то ни было; он носил длинную седеющую бороду и был, подобно стойкам, наголо острижен. Может быть, от него перенял такую манеру стричься Зенон, заповедавший ее и своим последователям. Пока я рассматривал судей, секретарь достал протокол и начал громко читать:

„Тимарион, сын Тимоника, обвиняет Оксибанта и Никтиона...“ Далее последовало все от начала до самого конца, и я вновь услышал о предварительном рассмотрении дела и о решении судей отложить его до того дня, когда Гиппократ и Асклепий будут присутствовать в совете.

По окончании чтения знаменитые врачи, посоветовавшись вполголоса друг с другом и пригласив также Эрасистрата принять в этом участие, некоторое время хранили молчание. Гиппократ прервал его и, метнув грозный взгляд на моих проводников, произнес: „Дайте ответ, Никтион и Оксибант, какой болезнью страдала душа Тимариона? Застали ли вы ее уже отторгнутой от тела? И не разобшили ли насильственно с плотью, когда они были еще прочно связаны, чтобы неизвестно в эти пределы?“

XXXVIII. После краткого раздумья они стали оправдываться следующими словами: „Мы не совершили, искуснейший из врачей, ничего незаконного или противоречащего установленным вашей наукой правилам. Ведь сами вы строжайше определили, что ни одно существо не может не только жить на земле, но даже родиться, не обладая четырьмя основополагающими элементами: кровью, слизью, желчью черной и желтой. Если же кто-нибудь из живых лишится одного из этих четырех элементов, он становится нежизнеспособным. Руководствуясь этим, мы несли на земле возложенную на нас службу и, когда узнали, что злополучный Тимарион в течение тридцати суток, не переставая ни днем, ни ночью, истекает желчью, почти всегда смешанной с кровью, заключили, умудренные своим искусством, что ему невозможно жить долее. В самом деле, как же у него после всего этого, при безостановочном поносе, могла сохраниться хотя бы часть этого основного жизненного сока? Поэтому-то не потребовалось никаких усилий, чтобы отделить душу Тимариона от тела. Стоило только прикинуть к его ноздрям, и мы без малейшего сопротивления, одним легким движением губ исторгли ее из глубин, ибо тело было обессилено длительной болезнью“.

Сказав это, Никтион и Оксибант смолкли, а служители судилища обратились к нам: „Изложите и вы, со своей стороны, что считаете нужным, но как можно короче, чтобы первый из врачей — бог врачевания Асклепий мог удалиться из совета, где он давно не был и куда по многу лет не приходит с тех пор, как причислен к сонму бессмертных и избегает общения с людьми“. Тут мой софист раздул щеки и начал так:

XXXIX. „Божественные судьи и славные князья науки! То, о чем ораторствовали эти низкие люди, привлекая, в ущерб справедливости,

все красноречие на погибель несчастного Тимариона, вы уже выслушали. Теперь остается убедиться, что эти хитросплетения уготованы ими во вред только самим себе“.

В это время Гиппократ наклонился к уху одного из служителей и осведомился, кто этот развязный вития, который защищает меня, и откуда родом. А тот стал рассказывать, что Феодор, будучи родом из Смирны, вырос в Византии, занял там кафедру риторики, наполнил двор громом своих речей и удостоился великих почестей и милости императоров. Вот что мне удалось услышать из его рассказа Гиппократу. Феодор, между тем, продолжал: „Что Тимарион не был еще обречен смерти, признают, надеюсь, и сами проводники. Как же могло случиться, что тело человека, который верхом покинул Фессалонику, оказалось мертвым и потеряло связи с жизнью? Оставляя все это в стороне, я напомним, что законы царства мертвых повелевают, чтобы после отделения души от тела, по умершем совершались, в зависимости от его веры, причем каждой вере обычные иные, заупокойные обряды (христиане совершают их на третий, девятый и сороковой день) и только затем душе надлежит низойти в подземное царство. Несмотря на это, Никтион и Оксибант, не дожидаясь совершения священных заупокойных обрядов, препроводили душу Тимариона в ад“.

Тогда Никтион запальчиво воскликнул: „При Тимарионе не было никого, кто мог бы совершить в его память все необходимое. Ведь во Фракии он был проездом и, как чужой для всех, не имел человека, который справил бы...“¹

— „А если вы утверждаете, что не злокозненно исторгли душу Тимариона, пусть сведущие люди осмотрят ее; на ней до сих пор висят клочья мяса, так как она была насильственно разлучена с телом“.

XI. Для этого были тотчас назначены Оксидеркион и Никтолевст. Тщательно осмотрев мою душу, они сообщили суду следующее свое заключение: „Поверхность тимарионовой души повсюду, даже при беглом осмотре, обнаруживает следы борьбы, т. е. обычные для павших на поле сражения пот и кровь. После тщательного исследования отдельных ее участков мы заметили в некоторых местах свежую кровь и почувствовали свойственный живому запах; кроме того, выяснилось, что на ней остались частицы мяса, также окровавленные и не успевшие омертветь“.

„Вот вам, судьи, подтверждение моих слов! — с торжеством закричал Феодор. — Как же могло тело Тимариона, раз душа была еще столь прочно с ним связана, утратить один из своих основных элементов, когда, по мнению величайших врачей, при потере любого из них природа без малейшего сопротивления порывает связи тела и души?“

И то обстоятельство, что извергнутая Тимарионом жидкость была по своему происхождению не элементарной, но представляла собой превращенную вследствие воспаления печени в желчь ежедневно потребляемую пищу, и то, что экскременты больного неизбежно были той же природы, т. е. содержали желчь и кислоту, — станет очевидно после исследования. В его душе² вы обнаружите желчь в области печени, где происходит образование крови; в результате этого потребляемая пища была отравлена желчью, и желчь входила в состав

¹ В рукописи лакуна, кончающаяся, как видно из следующего пассажа, речью Феодора из Смирны.

² По представлению автора, душа умершего являет собою точный слепок его физического облика; поэтому Феодор из Смирны узнает Тимариона в аиде, а эксперты обнаруживают на поверхности души кровь и в области печени желчь.

извержений. Поэтому они представляли собой не элементарную чистую желчь, но обычные экскременты, смешанные с желчью, вырабатываемой, вследствие воспаления печени, в количестве, превышающем нормальное“.

XLl. Этими словами Феодор кончил свою речь. Судьи некоторое время молчали, ибо глашатай потребовал полной тишины, а затем после краткого совещания с врачами, когда черепки для голосования были по обычаю опущены в стоявшие тут же урны, вынесли мне оправдательный приговор.

Вслед за этим началось составление протокола. Тут выступил на сцену некий софист из Византия, который, как рассказали мне служители, благодаря своим способностям и быстроте, давно уже исполнял в судилище эти обязанности. „Сейчас ты сам увидишь, — прибавили они, — как быстро он продиктует писцу только что вынесенный приговор“. Итак, после краткого перерыва судьи послали за ним, и когда софист в сопровождении Аристарха появился, шаг за шагом перечислили ему отдельные пункты своего решения. Софист тотчас же принялся диктовать, заметно заикаясь, так как и здесь не избавился от своей кривой губы. Аристарх записывал его слова, а Фриних был дан ему в помощники.

Готовый приговор передали секретарю, а затем громко, чтобы все слышали, огласили.

„Божественным советом великих врачей и богом врачевания Асклепием постановлено, чтобы Никтион и Оксипант, проводники усопших, преступившие законы подземного царства, с этого дня оставили свою службу, Тимарион же был возвращен на землю и водворен в собственное тело; лишь по истечении определенного ему судьбою срока, после того, как над ним будут совершены положенные заупокойные обряды, Тимариону надлежит быть вновь низведенным в аид теми, кто будет тогда отправлять эту службу“.

XLII. Затем судьи поднялись со своих мест, и совет был распущен. Эак, Минос и Теофил направились в свое обычное пристанище на Асфоделевом лугу, в другую часть которого торжественной поступью устремился вместе с остальными врачами Асклепий.

Христиане ликовали, испускали громкие клики, обнимали моего мудреца из Смирны и превозносили до небес за удачный конец речи, ее построение и расположение частей. Те же служители, которые в свое время ввели меня в судилище, теперь провожали нас через аид, так как на них была возложена обязанность вывести меня на землю. И вот, когда мы повернули туда и стали пересекать пределы мрака, мы достигли той части подземного царства, где находились жилища философ и ритор. Мой учитель, утомленный в равной мере и путешествием, и умственным напряжением, стал просить проводников, чтобы я вместе с ним провел эту ночь в обители мудрецов, ибо мое отправление на землю было назначено уже на утро, а ему жребий судил оставаться здесь вечно.

Далее случилось так, что

„Прочие боги, равно как и мужи, бойцы с колесницы,
Спали всю ночь, лишь меня не радовал сон безмятежный“.¹

Охваченный жаждой как можно больше узнать о царстве мертвых, я ночь напролет не смыкал глаз, неустанно наблюдая за всем, что происходило вокруг.

¹ Гомер. Илиада, II, 1—2. Автор перефразирует текст и вместо „Зевса“ пишет „меня“.

XLIII. Я видел Парменида, Пифагора, Мелисса, Анаксагора, Фалеса и других учредителей философских школ; все они спокойно сидели рядом, мирно и без споров беседовали друг с другом, обсуждая некоторые положения своей науки. Только Диогена все с отвращением сторонились и не допускали в свое собрание, так что он без устали ходил из стороны в сторону и вследствие своего необузданного и дерзкого нрава готов был сцепиться с первым встречным. Я был также свидетелем того, как Пифагор резко оттолкнул Иоанна Итала, желавшего примкнуть к этому сообществу мудрецов. „О, дерзостный, — сказал он, — надев на себя одеяние истинного галилеянина, которое приявшие крещение выдают за божественные святые ризы, ты стремишься общаться с нами, чья жизнь была отдана познанию постижимой рассудком мудрости? Либо скинь это вульгарное платье, либо сейчас же оставь наше братство!“ Иоанн не пожелал расстаться со своим одеянием. За ним по пятам следовал похожий на евнуха человек, скорее всего шут, очень остроумный и бойкий на язык, который в каждого встречного стрелял своими ямбами. Был он, впрочем, совершенной пустышкой, хотя хвастал бог знает чем, обманывая невежественную толпу. Кому ни придется встретиться с ним, никто не найдет в нем ни зернышка мудрости и ни капли приятности. Казалось, этот человек целиком усвоил нрав своего господина — тот ведь такой же завистливый, злоречивый, легкомысленный и так же любит пускать пыль в глаза, а к тому же обладает еще и другими пороками, обычно сопутствующими перечисленным.

XLIV. В aide Иоанну суждено было найти достойного противника; стоило ему только, проходя мимо собаки Диогена,¹ чья дерзость после смерти значительно увеличилась, пустить в ход свое обычное хвастовство, как он негаданно поплатился самым жестоким образом. Диоген, не стерпев кичливости Иоанна, накинулся на него с лаем и рычанием, как злой пес; тот, в свою очередь, облаял Диогена, так как сам был из школы киников, и в результате они сцепились. Иоанн зубами впился Диогену в плечо, а тот сдавил ему горло и наверняка задушил бы, если б римлянин Катон, проникший в общество философов, не спас своего соотечественника. „Ничтожество, — крикнул Диоген, — сам Великий Александр, целый Азией управлявший, как собственным поместьем, подойдя ко мне в Коринфе, когда я грелся на солнце, держался со мной робко и почтительно. А ты, константинопольское отребье, ненавистный даже своим галилеянам, разговариваешь дерзко и кичливо?! Клянусь кинической философией, зачинателем которой я признан повсюду, если ты еще раз осмелишься заговорить со мной, придется тебе вторично подышать подлой смертью“. Тут Катон взял Иоанна за руку и увел далеко прочь; когда они достигли пределов, населенных софистами и риторам, те вскочили со своих мест и стали швырять в него камнями, крича: „Убери его, Катон! Нам он совершенно чужд, так как за всю свою жизнь не достиг ничего в грамматике, а писания его были общим посмешищем“. Под влиянием столь тяжелых оскорблений Иоанн с криком бросился бежать. „О, Аристотель, Аристотель, — взывал он, — где вы, силлогизмы и ухищрения диалектики? Если бы вы сейчас пришли мне на помощь, я бы наголову разбил здешних незадачливых философов и софистов и прежде всего этого пафлагонского свинопаса, Диогена“.

¹ Непереводимая игра слов: по-гречески, *κυνικός* значит и „собачий“ и „кинический“.

XLV. Между тем вернулся давешний софист из Византия и приблизился к философам; его встретили радостно: „Привет тебе!“ — слышалось со всех сторон. Несмотря на это, он разговаривал с ними стоя, и ни философы не приглашали его сесть, ни сам он этого не делал. Софисты же, когда он достиг их обиталища, оказали ему большие почести: все, как один, встали при его появлении. Когда византиец уставал, он либо садился тут же, в их кругу, либо покоился на возвышении, в кресле, которое ему приносили. Все восхищались прелестью и сладостью его речей, ясностью и простотой слога, плавностью манеры и умением так подбирать слова, чтобы они соответствовали и приличествовали какому угодно содержанию. Часто софисты, видя его, повторяли „О, светозарный император!“ Это, оказывается, как я узнал из расспросов, были первые слова его речи, обращенной к императору.

Кид.: Что же, любезный Тимарион, неужели ты больше ничего не расскажешь о своем учителе из Смирны? Как к нему относился синедрион философов?

Тим.: С этими блистательными основателями целых школ, друг мой, Феодор почти не общался, если не считать его редких вопросов о какой-нибудь частности их учения. Обычно он беседовал с риторам и софистами — Полемоном, Геродом и Аристидом. С ними, как с земляками, он держался без робости и беседовал непринужденно; а они приглашали его в свой кружок, лишь только он появлялся, и делали советчиком и судьей всяких риторических фигур, описаний и других тонкостей своего искусства.

XLVI. Все это, друг мой, я узнал за ту летнюю ночь, которую провел вместе со служителем судилища¹ и Феодором. Они, за поздним часом, предавались сну, тогда как я все время посвятил наблюдениям. На утро мой софист подошел и стал торопить меня: „Скорее собирайся, дражайший Тимарион, чтобы отправиться на землю. Знай, что за многие годы никому другому из умерших не выпадало на долю такое счастье. Смотри только, не забудь прислать мне всего, на что меня тянет“.

„С большим удовольствием, — отвечал я, — я предоставляю к твоим услугам все, что могу. Говори, чего тебе хочется, чтобы я мог тебе угодить; перечисли все, в чем испытываешь нужду“.

„Пошли мне, милый, пятимесячного ягненка, парочку свежих жирных трехгодовалых куриц, какими торгуют в птичьих рядах на базаре, и у которых корм, благодаря искусству людей, задававших его, толстым слоем откладывается на ножках; пошли также молочного поросеночка не старше месяца и вымя молодой свиньи, как можно более жирное и сочное.“ Тут Феодор заключил меня в объятия и на прощание сказал: „Счастливого пути, возвращайся на землю! Без помехи и в полном здравии постарайся добраться до своего дома, прежде чем слух о твоей смерти дойдет до Византия, и все близкие и друзья, которых у тебя, помнится, много, успеют оплакать твою гибель“. После этого я с ним расстался, и мы, не теряя времени, отправились в путь, нигде больше не задерживаясь. Слева от дороги я успел, однако, заметить Филарета из Армении, Александра из Феры и злодея Нерона, копавшегося в куче человеческого навоза, зловоние которого достигало моего носа. Вскоре мы дошли до устья ведущего в аид колодца, без

¹ Здесь Тимарион впадает в противоречие: в гл. 42 он рассказывал о двух служителях судилища, которым было поручено вывести его на землю.

труда поднялись по нему на воздух, и глазам моим предстали Плеяды и Большая Медведица.

XLVII. Я был теперь в недоумении, куда держать путь, чтобы найти свое тело, но несся по воздуху, словно гонимый дуновением ветра, пока не достиг берега реки и не узнал гостиницу, где оставался мой труп. Здесь, на берегу Гебра, провожатый покинул меня, и я сквозь отверстие в крыше, куда уходит дым очага, проник в дом. Прикинув к своему телу, я вновь вошел в него через ноздри и рот. Оно совершенно застыло от стужи и было охвачено оцепенением смерти, так что этой ночью мне грозила опасность замерзнуть. На утро, быстро собрав свои вещи, я отправился в Византий.

И вот, целый и невредимый, милый Кидион, я рассказываю тебе свои приключения. А ты окажи мне услугу — найди еще не погребенных покойников, которым можно было бы отдать заказанные мне Феодором лакомства, чтобы таким образом переправить их моему учителю. Пусть только это не будут порядочные люди, привыкшие к чистоте и опрятности, которым такое поручение, вероятно, будет противно, а какие-нибудь грязные пафлагонцы с базара, почтущие за честь для себя спуститься в ад с куском свинины подмышкой. Однако, уже время спать. Давай, мой друг, распрощаемся и отправимся по домам.

ГЕОРГИЙ ГЕМИСТ ПЛИФОН. РЕЧИ О РЕФОРМАХ

(Перевод и предисловие Б. Т. Горянова)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Среди византийских писателей, историков и философов последнего века существования империи особое место занимает Георгий Гемист Плифон, перевод двух речей которого мы публикуем в этом томе „Византийского Временника“.

Биографические сведения о Плифоне крайне скудны. Мы не знаем точно ни года его рождения, ни года смерти. Известно лишь, что он только на несколько лет пережил падение Константинополя. Однако, исходя из встречающегося у Георгия Трапезунтского указания, что Плифон жил почти сто лет, дату его рождения относят обычно к 1355 г.¹ Известно, что в юности ему пришлось провести несколько лет в турецком плену в Адрианополе, обращенном в это время в резиденцию султана.

В дальнейшем Плифон переехал в Мистру, где усиленно занимался литературой и философией. В это время им были написаны некоторые трактаты на религиозные темы, исторические, географические и астрономические произведения. Наиболее известным из этих ранних произведений Плифона является его „История Греции после битвы при Мантине“. К 1415 г. относятся его докладные записки императору Мануилу II Палеологу (1391—1425) и его сыну деспоту Феодору Палеологу Младшему о положении в Пелопоннесе, в которых намечен широкий план социально-политических реформ, имевших целью спасение империи.

Когда император Иоанн VIII Палеолог (1425—1448) в начале своего царствования прибыл в Морею, он советовался с Плифоном о важном

¹ C. Alexandre in; Pléthon. Traité des lois, Paris, 1855, p. XL, n. 2.